

МИХАИЛ
ПРИШВИН

Зеленый шум



Annotation

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя М.М. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

- [Михаил Михайлович Пришвин](#)

- [«I»](#)
- [«II»](#)
- [«III»](#)
- [«IV»](#)
- [«V»](#)
- [«VI»](#)
- [«VII»](#)
- [«VIII»](#)
- [«IX»](#)
- [«X»](#)
- [«XI»](#)
- [«XII»](#)
- [Послесловие](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Михаил Михайлович Пришвин

Кладовая солнца

Сказка-быль

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была, как золотая Курочка на высоких ножках. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

«Мужичок в мешочке», как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза. Безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталось, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие задорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она

свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед, и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: бочонки, шайки, лохани. У него есть фуганок, ладило^[1] длиной больше чем в два его роста. И этим ладилком он подгоняет дощечки одну к одной, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами.

При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под капли бочонок, кому кадушечка солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками – домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже отплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда «Мужичок в мешочке» начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

– Вот еще!

– Да чего ты хорохоришься? – возражает сестра.

– Вот еще! – сердится брат. – Ты, Настя, сама хорохоришься.

– Нет, это ты!

– Вот еще!

Так, помучив строптивного брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

– Давай-ка вместе полоть, – скажет сестра.

И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку окучивать.

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье «Тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, направляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

– Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

– Видишь, Дмитрий Павлович, – отвечал отец, – в лесу эта стрелка тебе доброй матери: бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку – и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Одедся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканной материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «Тулку» – на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

– Зачем тебе полотенце? – спросил Митраша.

– А как же? – ответила Настя. – Ты разве не помнишь, как мама за

грибами ходила?

– За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

– А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще!», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

– Ты это помнишь, – сказал Митраша сестре, – как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка^[2] в лесу.

– Помню, – ответила Настя, – о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань.^[3]

– Вот там, возле елани, и есть палестинка, – сказал Митраша. – Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север и увидите – там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал.

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок.

«Может быть, еще и заблудимся, – подумала она. – Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

– Ну, так что это за палестинка? – спросила Настя.

– Так ты ничего не слыхала?! – схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

«III»

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимую зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях – оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда с высокой пролысинки в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще, не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но брат и сестра знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

– Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие и ароматные цветочки волчьего лыка.

– Они хорошо пахнут, попробуй сорви цветочек волчьего лыка, – сказал Митраша.

Настя попробовала надломить пруттик стебелька и никак не могла.

– А почему это лыко называется волчьим? – спросила она.

– Отец говорил, – ответил брат, – волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

– А разве тут есть еще волки?

– Ну, как же! Отец говорил, тут есть страшный волк Серый помещик.

– Помню, тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

- Отец говорил, он живет на Сухой речке в завалах.
- Нас с тобой он не тронет?
- Пусть попробует, – ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнилась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

– Тэк-тэк! – чуть слышно постукивает огромная птица Глухарь в темном лесу.

- Шварк-шварк! – дикий Селезень в воздухе пролетел над речкой.
- Кряк-кряк! – дикая утка Кряква на озере.
- Гу-гу-гу! – красивая птичка Снегирь на березе.

Бекас, небольшая серая птичка с носом, длинным, как сплюснутая шпилька, раскатывается в воздухе диким барабашком. Вроде как бы «жив, жив!» кричит кулик Кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает Белая Куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово.

– Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого.

И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и зашваркают, и затэтэкают, стараясь всеми голосами своими ответить нам:

– Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один – ни на что не похожий.

– Ты слышишь? – спросил Митраша.

– Как же не слышать! – ответила Настя. – Давно слышу, и как-то страшно.

– Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал: это так

весной заяц кричит.

– А зачем?

– Отец говорил: он кричит «Здравствуй, зайчиха!»

– А это что ухаает?

– Отец говорил это ухаает выпь, бык водяной.

– И чего он ухаает?

– Отец говорил у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, выпиха».

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахло корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл особый, торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать.

– Победа, победа!

– Что это? – спросила обрадованная Настя.

– Отец говорил это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

– Что это, Митраша, – спросила Настенька, ежась, – так страшно воет вдали?

– Отец говорил, – ответил Митраша, – это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

– Так отчего же он страшно воет теперь?

– Отец говорил волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото.

– Мы куда же пойдём? – спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

– Мы пойдём на север по этой тропе.

– Нет, – ответила Настя, – мы пойдём вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место – Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет,

Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону, значит там и клюква растет.

– Много ты понимаешь! – оборвал ее охотник – Мы пойдем на север, как отец говорил, там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

«IV»

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями – за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстая стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья так стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа, что лисичка, свернувшись на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услышав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину и могучие стволы соснового бора стали, как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетело пение птиц, посвященное восходу великого солнца.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широко, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост.

Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое, чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

– Чуф, ши!

По-тетеревиному «чуф», скорее всего, значило солнце, а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье Косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на Косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользя по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний Косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже – каждый петух, – вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанье, то у нас выходило:

Круты перья,
Ур-гур-гу,
Круты перья
Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подрасться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от Косача, токующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать Косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегающий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверное, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

– Кра!

Это значило у нее:

– Выручай!

– Кра! – ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик,

возле елки, у самого гнезда, где Косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам:

– Кар-кар-кекс!

И это было сигналом ко всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к Косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная тропа шла направо, другая, слабенькая, – прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал:

– Нам надо по этой на север.

– Это не тропа! – ответила Настя.

– Вот еще! – рассердился Митраша. – Люди шли – значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

– Кра! – крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрела пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь.

«Золотая Курочка» собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

– Смотри, – сказала она, – какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

– Пусть ходят все люди, – решительно ответил упрямый «Мужичок в мешочке». – Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

– Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, – сказала Настя. – И,

наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти: как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

– Ну, ладно, – резко повернул Митраша. – Я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

– Кра! – закричала ворона.

И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до Косача и со всей силы долбанул его. Как ошпаренный, метнулся Косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завывали, застонали.

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же, в тон деревьям, жалобно завывала.

Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належающего подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стога, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе.

Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось – он никогда не умрет.

– Сколько тебе лет, Антипыч? – спрашивали мы. – Восемьдесят?

– Мало, – отвечал он.

– Сто?

– Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

– Антипыч, ну, брось свои шутки, скажи нам по правде, сколько же тебе лет?

– По правде, – отвечал старик, – я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

– Ты, Антипыч, старше нас, – говорили мы, – и ты, наверно, сам лучше нас знаешь, где правда.

– Знаю, – усмехался Антипыч.

– Ну, скажи.

– Нет, пока жив, я сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте: я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

– Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел

посмеяться и пошутить.

– Деточки вы, – сказал он, – не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну, ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! – позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полосы с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?»

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она вдруг как вскочит и лапами на плечи – и чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

– Ну, будет, будет, – сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

– Ну, будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

– То-то, ребята, – сказал Антипыч. – Вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь. Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя: хозяин любил ее,

кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу, и тут иногда, услышав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла и выла.

К этому вою давно уже прислушивается волк Серый помещик.

«VI»

Сторожка Антипыча была вовсе недалеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы выли по-волчьи и так вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать, по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждого ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок.

Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней – молодые переярки и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, – огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг.

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону и там тоже:

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход, и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов

от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услышав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой – половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи. И, определив нужный момент, врвался в стадо и резал овец и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди, к себе, в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось врывать в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же, наконец, придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завyli деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, – это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель.

«VII»

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой – воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет, – дерево, собака – друг человека, или волк – злейший враг его, – лишь бы он выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стоны деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле Антиповой сторожки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек – это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому.

Так-то скорее всего и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услышав эту ненавистную ему собачью мольбу о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, помолвившись Антипычу, она почувствовала сильный голод, она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарнике и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущие хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная – решить: идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поестъ этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб.

Куда же идти, в какую сторону?.. У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака скололась.

Так и Травка скололась. И, как всякая гончая, в таком случае начала делать круги, с высоко поднятой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц.

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел. Но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же, после того с цепью на шее она пустилась на поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча повисали в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и

уверилась: хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к лежащему камню, проверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так и подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лежку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение – трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча».

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей Слепую елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

«VIII»

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое, Слепая елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадают какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала, как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше. Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая, стоя, вяжет чулок, и так все: что ни елочка, то

непрерывно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди него и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь, – вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах.

Черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

– Дрон-тон! – крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

– Дрон-тон! – ответила издали на гнезде ворон-самка.

И это означало у нее:

– Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили переключку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами наострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил, – что ему было трусить, если под его ногами тропа человеческая: шел такой же человек, как и он, – значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услышав ворона, он даже запел:

– Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил,

что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда в ямку воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллежкой выростала высокая сладкая трава белоус. По этой, не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого, траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево и туда идет далеко и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

– Чьи вы? – закричал в это время чибибис.

– Жив, жив! – ответил кулик.

– Дрон-тон! – еще уверенней крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко по той стороне поляны змеилась высокая трава белоус – неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду поворачивать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать – виднеется там, за полянкой?»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку.

«X X X»

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом.

– Перескочу, – сказал он.

И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый – пропадать, так уж пропадать, – на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал себя плотно охваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было: при малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

– Митраша!

Он ей ответил.

Но ветер был с той стороны, где Настя. И уносил его крик в другую сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку, с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань, и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, косатые, длиннохвостые, стали трещать.

Одни вроде:

– Дри-ти-ти!

Другие:

– Дра-та-та!

– Дрон-тон! – крикнул ворон сверху.

И, очень умные на всякое поганое дело, сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал.

По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

«IX»

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику, – та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки с синим пушком. Так же брусника, кроваво-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробоваться, и тянешь вместе с одной ягодиной зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь – и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кроваво-красных ягод.

То ли что клюква – ягода дорогая весной, то ли что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так и промаялась до ночи возле полной корзины.

А то, бывает, женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом, – не видит ли кто, – приляжет к земле на мокрое болото и ползет.

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала: ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее,

что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно, что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя, незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями, – там тоже тропы не было. Тут-то бы, к случаю, и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого, вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним.

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть.

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упустит из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу.

Приди сюда Митраша, голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета?

На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на Золотую Курочку на высоких ножках, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

– Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и

не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости. Ты бы, ворон, сказал им.

– Дрон-тон! – крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

– Слышу, – тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха, – только успевай, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото.

– Дрон-тон! – крикнул второй раз ворон-самец над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны – покажется, он похож на быка, посмотреть с другой – лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего – ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища приклепнулись к дереву, и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку.

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ножках.

Лось ее и за человека не считает: у нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинается вечереть, воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки

трав и неровности, оплела черный теплый пенъ и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна громадная, в полметра длиной, вползла на пенъ и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову.

Тогда-то, наконец, Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черными ремешками на спине. Собака эта была Травка. И Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

– Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюковинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась? Где же был за это время брат голодный и как она забыла о нем, как она сама забыла себя и все вокруг?

Она опять поглядела на пенъ, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

– Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик в другую сторону.

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Невесело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал Косач-токовик. И журавли прокричали три раза, не как утром «победа», а вроде как бы:

– Спите, но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее в соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и, так ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушиваясь, ямщик нам сказал:

– Беда!

Мы сами что-то услышали.

– Что это?

– Беда какая-то: собака воеет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей, скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала. И Серый остановился

переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама слышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

– Тяв, тяв!

И сразу поняла, конечно, что это тьякала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла – лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тьякает она, только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услышав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу как волк на гону молча остановится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца от Лежачего камня: заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню. Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услышала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и, даже привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тьякает лисица.

Так вот одновременно сошлись: Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался, до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка, своим собачьим способом, бросилась вслед зайцу и, взвизгнув залиvisto, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услышав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

«XI»

Сороки на Слепой елани, услышав приближение зайца, разделились на две партии одни остались при маленьком человечке и кричали:

– Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

– Дра-та-та!

Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, – какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир: разве что так.

– Дри-ти-ти! – кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человечку.

Но подскочить совсем не могли руки у человечка были свободны. И вдруг сороки смешались, одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дрикнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит. Этот русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу:

– Дра-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделяют свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди, иногда от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, – в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков – в третью и там лег глазами к своему следу на тот случай, что если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее.

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки – опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках, не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит – лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча

свой страшный круг.

Зайцу повезло на этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека, и поднялся страшный шум.

Можно догадаться, – заяц, услышав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего: «Подальше от греха» – и – ковыль-ковыль, тихонечко вышел на обратный след к Лежащему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человечка и, забыв о зайце, остановилась, как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человечка в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были, как два человека: один Антипыч с разными лицами и другой человек – это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а становится и узнает: ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч», – подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь – весь то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало: если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг.

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными

звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня – ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое, и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи – от слова травить, и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

– Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

– Ну, ну! – сказал Антипыч. – Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга – собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить.

– Затравушка, милая Затравушка! – ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал: «Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

– Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал: «Ползи только, ползи».

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на

распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человека, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал:

– Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания: перед ней стоял прежний, прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, человек, когда-то, в древнем прошлом его, перешепнул своему другу-собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем: эта правда есть правда вековой суровой борьбы людей за любовь.

«XII»

Нам теперь остается уже немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно: Травка – гончая собака, и дело ее – гонять для себя, но для хозяина-Антипыча поймать зайца – это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услышав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое был не заяц, не волк, а что Настя, услышав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому, молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

«X X X»

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и,

скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, – глядим: а охотники за сладкой клюквой идут из лесу гуськом, на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас поверили: неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и далее не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели, – на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили:

– А вот смеялись, дразнили «Мужичок в мешочке»!

И тогда незаметно для всех прежний «Мужичок в мешочке», правда, стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел – высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли и что она благоразумно звала брата на торную тропу и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы – разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего – торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах!

Послесловие

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее тайную жизнь и воспел ее красоту, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю писателя Михаила Михайловича Пришвина.

Михаил Михайлович – это было имя для города. А в тех местах, где Пришвин был «у себя дома» – в сторожках объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба – звали его просто «Михалычем». И, очевидно огорчались, когда этот удивительный, запоминавшийся с первого взгляда человек исчезал в городах, где только ласточки гнездясь под железными крышами напоминали ему о просторах его журавлиной родины.

Жизнь Пришвина – доказательство того, что человек должен всегда стремиться жить по призванию: «По велению своего сердца». В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл, потому что человек живущий по своему сердцу и в полном согласии со своим внутренним миром – всегда созидатель, обогатитель и художник.

Неизвестно, что создал бы Пришвин, если бы остался агрономом (это была его первая профессия). Во всяком случае он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. Просто на это у него не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и напряженной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы «второго мира» природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником красотой.

Если мы внимательно прочтем все написанное Пришвиным то убедимся, что он не успел рассказать нам даже сотой доли того, что так превосходно видел и знал.

Для таких мастеров, как Пришвин, мало одной жизни, – для мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева листе. А этих листьев падает неисчислимое множество.

Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же как и Пришвин, умевший воспринимать природу в органической связи с человеческими думами и настроениями.

Чем это объяснить? Очевидно тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца – очень русская, очень простая и по существу небогатая. И вот в этой ее простоте и даже некоторой суровости

лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее выступают все прекрасные качества земли, острее делается человеческий взгляд.

Простота, конечно, ближе сердцу, чем пышный блеск красок, бенгальский огонь закатов, кипение звезд и лакированная растительность тропиков, напоминающая мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов.

Биография Пришвина резко делится надвое. Начало жизни шло по проторенной дороге – купеческая семья, крепкий быт, гимназия, служба агрономом в Клину и Луге, первая агрономическая книга «Картофель в полевой и огородной культуре».

Казалось бы, что все идет в житейском смысле гладко и закономерно, по так называемой «служебной стезе». И вдруг – резкий перелом. Пришвин бросает службу и уходит пешком на север, в Карелию, с котомкой, охотничьим ружьем и записной книжкой.

Жизнь поставлена на карту. Что будет с ним дальше, Пришвин не знает. Он повинуется только голосу сердца, непобедимому влечению быть среди народа и с народом, слушать удивительный его язык, записывать сказки, поверья, приметы.

По существу жизнь Пришвина так резко изменилась из-за его любви к русскому языку. Он вышел на поиски сокровищ этого языка, как герои его «Корабельной чащи» шли на поиски далекой, почти сказочной корабельной рощи.

После севера Пришвин написал первую свою книгу «В краю непуганых птиц». С тех пор он стал писателем.

Все дальнейшее творчество Пришвина как бы рождалось в скитаниях по родной стране. Пришвин исходил и изъездил всю Среднюю Россию, Север, Казахстан и Дальний Восток. После каждой поездки появлялись то новый рассказ, то повесть, то просто короткая запись в дневнике. Но все эти работы Пришвина были значительны и своеобразны, от драгоценной пылинки – записи в дневнике, до сверкающего алмазными гранями крупного камня – повести или рассказа.

Можно много писать о каждом писателе, стараясь в меру сил высказать все те мысли и ощущения, что возникают у нас при чтении его книг. Но о Пришвине писать трудно, почти невозможно. Его нужно выписывать для себя в заветные тетради, перечитывать время от времени, открывая все новые драгоценности в каждой строке его прозы-поэзии, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором родников, трепетом листьев, благоуханием трав, –

погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку.

Пришвин думал о себе как о поэте, «распятом на кресте прозы». Но он ошибался. Его проза гораздо больше наполнена чистейшим соком поэзии, чем иные стихи и поэмы.

Книги Пришвина, говоря его же словами, – это «бесконечная радость постоянных открытий».

Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова: «Это – настоящее колдовство!»

Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали трудно объяснимое, но явное, присущее только Пришвину, очарование его прозы.

В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относятся обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он человек земли, «матери сырой земли», участник и свидетель всего, что совершается вокруг него в мире.

Секрет пришвинского обаяния, секрет его колдовства – в его зоркости.

Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное и значительное, что под прискучившим иной раз покровом окружающих нас явлений видит глубокое содержание земной жизни. Самый ничтожный листок осины живет своей разумной жизнью.

Я беру книгу Пришвина, открываю ее наугад и читаю:

«Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли».

В этом поистине алмазном кусочке прозы все просто, точно и все полно неумирающей поэзии.

Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришвин обладал совершенным умением придавать путем гибкого сочетания простых слов почти физическую осязаемость всему, что он изображал.

Но этого мало Язык Пришвина – язык народный, точный и образный в одно и то же время, язык, который мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в великой простоте, мудрости и спокойствии народного характера.

Несколько слов: «Ночь прошла под большой чистой луной» –

совершенно точно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей огромной страной. И «лег мороз» и «деревья обдались сильной росой» – все это народное, живое и никак не подслушанное или взятое из записной книжки. Это – собственное, свое. Потому что Пришвин был человеком народа, а не только наблюдателем народа, как это, к сожалению, часто бывает с некоторыми нашими писателями.

Земля нам дана для жизни. Как же мы можем не быть благодарными тому человеку, который открыл нам до дна всю простую красоту этой земли, тогда как до него мы знали об этом неясно, разрозненно, урывками.

Среди многих лозунгов, выдвинутых нашим временем, возможно, имеет право на существование и такой лозунг, такой призыв, обращенный к писателям:

«Обогащайте людей! Отдавайте до конца все, чем обладаете, и никогда не тянитесь за возвратом, за наградой. Все сердца открываются этим ключом».

Щедрость – высокое писательское свойство, и этой щедростью отличался Пришвин.

Дни и ночи сменяются на земле и уходят, полные своей мимолетной прелести, дни и ночи осени и зимы, весны и лета. Среди забот и трудов, радостей и огорчений мы забываем вереницы этих дней, то синих и глубоких, как небо, то притихших под серым пологом туч, то теплых и туманных, то заполненных шорохом первого снега.

Мы забываем об утренних зорях, о том, как блещет кристаллической каплей воды хозяин ночей Юпитер.

Мы забываем о многом, о чем нельзя забывать. И Пришвин в своих книгах как бы перелистывает назад календарь природы и возвращает нас к содержанию каждого прожитого и позабытого дня.

Пришвин – один из своеобразнейших писателей. Он ни на кого не похож – ни у нас, ни в мировой литературе. Может быть, поэтому существует мнение, что у Пришвина нет учителей и предшественников. Это неверно. Учитель у Пришвина есть. Тот единственный учитель, которому обязана своей силой, глубиной и задушевностью русская литература. Этот учитель – русский народ.

Понимание жизни накапливается писателем медленно, годами, от юности до зрелых лет в тесном общении с народом. И накапливается еще и тот огромный мир поэзии, которым повседневно живет простой русский человек.

Народность Пришвина – цельная, резко выраженная и ничем не замутненная.

В его взгляде на землю, на людей и на все земное есть почти детская ясность зрения. Большой поэт почти всегда видит мир глазами ребенка, как будто он видит его действительно в первый раз. Иначе огромные пласты жизни были бы наглухо закрыты от него состоянием взрослого человека – много знающего и ко всему привыкшего.

Видеть в привычном непривычное и в непривычном привычное – таково свойство настоящих художников. Этим свойством Пришвин владел целиком, и владел непосредственно.

Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна и нанесена на сотни карт.

Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, среди взгорий и полей, мимо старинных городов и сел – Дмитрова, Вербилка, Талдома. Тысячи и тысячи людей перебивали на этой реке. Были среди этих людей и писатели, художники, поэты. И никто не заметил в Дубне ничего особенного, только ей свойственного, достойного изучения и описания.

Никому не пришло в голову пройти по ее берегам, как по берегам еще не открытой реки. Сделал это один только Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как драгоценная географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны, – со своей особой жизнью, растительностью, единственным, свойственным только ей, ландшафтом, бытом приречных жителей, историей, экономикой и красотой.

Жизнь Пришвина была жизнью человека пытливого, деятельного и простого. Недаром он сказал, что «величайшее счастье не считать себя особенным, а быть, как все люди».

В этом «быть, как все» и заключается, очевидно, сила Пришвина. «Быть, как все» для писателя означает стремление быть собирателем и выразителем всего лучшего, чем живут эти «все», иными словами – чем живет его народ, его сверстники, его страна.

У Пришвина был учитель – народ и были предшественники. Он стал только полным выразителем того течения в нашей науке и литературе, которое вскрывает глубочайшую поэзию познания.

В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Многим поэтам давно бы надо это понять.

Насколько более действенной и величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию!

Одно дело – ночь над лесами, с безликим и потому невыразительным небом, и совсем другое дело – та же ночь, когда поэт знает законы

движения звездной сферы и когда в черной воде осенних озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный и печальный Орион.

Примеров того, как самое незначительное знание открывает для нас новые области поэзии, можно привести много. У каждого в этом отношении свой опыт.

Но сейчас я хочу рассказать об одном случае, когда одна строчка Пришвина объяснила мне то явление природы, что до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и напомнила его ясной и, я бы сказал, закономерной красотой.

Я давно заметил в обширных заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это можно увидеть с маленького самолета «У-2», который прилетает в луга опылять от комарья озера, мочажины и болотца.

Я годами наблюдал высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление.

И вот у Пришвина во «Временах года» я, наконец, нашел объяснение в изумительной по ясности и прелести строке, в крошечном отрывке под названием «Реки цветов»:

«Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов».

Я прочел это и сразу понял, что богатые полосы цветов выросли именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков.

У нас были и есть великолепные ученые-поэты, такие, как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Пржевальский, Арсеньев, Мензбир. И у нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы как необходимейшее и живописное качество прозы, – Мельников-Печерский, Аксаков, Горький. Но Пришвин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнографии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически вошли в книги.

Они не лежали мертвым грузом. Они жили в нем, непрерывно развиваясь, обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их живописном выражении, на малых и больших, но одинаково неожиданных примерах.

В этом деле Пришвин – мастер и вольный хозяин, и вряд ли найдутся равные ему писатели во всей мировой литературе.

Познание существует для Пришвина как радость, как необходимое

качество труда и того творчества современности, в котором Пришвин участвует по-своему, по-пришвински, как некий поводырь, ведущий нас за руку по всем удивительным углам России и заражающий нас любовью к этой замечательной стране.

Мне кажутся совершенно праздными и мертвыми возникающие время от времени разговоры о праве писателя живописать природу. Вернее, о каких-то размерах этого права, о дозах природы и пейзажа в тех или иных книгах.

По мнению некоторых критиков, большая доза природы является смертным грехом, чуть ли не уходом писателя в природу от действительности.

Все это в лучшем случае – схоластика, а в худшем – мракобесие. Даже ребенку ясно, что чувство природы – одна из основ патриотизма.

Алексей Максимович Горький призывал писателей учиться у Пришвина русскому языку.

Язык Пришвина точен, прост и вместе с тем очень живописен в своей разговорности. Он многоцветен и тонок.

Пришвин любит народные термины, самым своим звучанием хорошо передающие тот предмет, к какому они относятся. Стоит внимательно прочесть хотя бы «Северный лес», чтобы убедиться в этом.

У ботаников есть термин «разнотравье». Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье – это сплетение сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными коврами по поймам рек. Это заросли гвоздики, подмаренника, медуницы, генцианы, приточной травы, ромашки, мальвы, подорожника, волчьего лыка, дремы, зверобоя, цикория и множества других цветов.

Прозу Пришвина можно с полным правом назвать «разнотравьем русского языка». Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они полны свежести и света. Они то шелестят, как листья, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как хрупкий первый ледок, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно движению звезд над лесным краем.

Тургенев недаром говорил о волшебном богатстве русского языка. Но он, пожалуй, не думал, что этих волшебных возможностей – еще непочатый край, что каждый новый настоящий писатель будет все сильнее вскрывать эту волшебность нашего языка.

В повестях, рассказах и географических очерках Пришвина все объединено человеком – беспокойным думающим человеком с открытой и смелой душой.

Великая любовь Пришвина к природе родилась из его любви к человеку. Все его книги полны родственным вниманием к человеку и к той земле, где живет и трудится этот человек. Поэтому и культуру Пришвин определяет как родственную связь между людьми.

Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей пронизательности. Его не интересует наносное. Его занимает суть человека, та мечта, которая живет у каждого в сердце, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый.

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту – вот в чем задача! А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как свою мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния и уж, конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук.

Только единомышленнику можно поверить свою мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках волчках из Марьиной Рожи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества.

Все созданное Пришвиным и первые его вещи – «В краю непуганых птиц» и «Колобок» и последующие – «Календарь природы», «Кладовая солнца», многочисленные его рассказы и, наконец, тончайший как бы сотканный из утреннего света ключевой воды и тихо говорящих листьев «Жень-шень» – все это полно прекрасной сущностью жизни.

Пришвин утверждает ее каждодневно. В этом его великая заслуга перед своим временем, перед своим народом и перед нашим будущим.

В прозе Михаила Михайловича заключено много размышлений о творчестве и писательском мастерстве. В этом деле он был так же пронизателен, как и в своем отношении к природе.

Мне кажется образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о классической простоте прозы. Называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой-подпаском о литературе.

Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину:

– Если бы ты по правде писал, а то ведь наверное все выдумал.

– Не все, – ответил я, – но есть немного.

– Вот я бы – так написал!

– Все бы по правде?

– Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

– Ну как же?

– А вот как! Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утятя – свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал – он ищет слов или дожидается образов. Но он вынул жалейку и стал просверливать в ней дырочку.

– Ну, а дальше то что? – спросил я. – Ты же по правде хотел ночь представить.

– А я же и представил, – ответил он, – все по правде. Куст большой-большой! Я сижу под ним, а утята всю ночь – свись, свись, свись.

– Очень уж коротко.

– Что ты коротко! – удивился подпасок. – Всю-то ночь напролет свись, свись, свись.

Соображая этот рассказ я сказал:

– Как хорошо!

– Неуж плохо? – ответил он.

Мы глубоко благодарны Пришвину. Благодарны за радость каждого нового дня, что синеет рассветом и заставляет молодо биться сердце. Мы верим Михаилу Михайловичу и вместе с ним знаем, что впереди еще много встреч и дум и великолепного труда и, то ясных, то туманных дней, когда слетает в затишливые воды желтый ивовый лист пахнувший горечью и холодком. Мы знаем, что солнечный луч обязательно прорвется сквозь туман и этот чист сказочно загорится под ним легким чистым золотом, как загораются для нас рассказы Пришвина – такие же легкие простые и прекрасные как этот лист.

В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова: «Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой – и весна останется в тебе навсегда».

Да, весна пришвинской прозы останется навсегда в сердцах наших людей и в жизни нашей советской литературы.

К. Паустовский

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

Notes

1

Ладило – бондарный инструмент Переславского района Ярославской области.

Палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу.

3

Елань – топкое место в болоте, все равно, что прорубь на льду.